**Фазиль Искандер**

**Чик и Пушкин**

   В классе было тихо-тихо. Александра Ивановна сидела за столом и читала «Капитанскую дочку». Даже пылинки в солнечном луче, падающем на стол учительницы, казалось, стали медленнее кружиться, все пристраиваясь и пристраиваясь к спокойному и милому порядку книги. Александра Ивановна ее читала уже много дней, и каждый раз в классе устанавливалась волшебная тишина.  
   Чик ужасно любил эти минуты. Конечно, и книга была мировая, и Александра Ивановна здорово читала. Но тут было еще что-то другое. Чик это чувствовал. В голосе Александры Ивановны журчат уют, слаженность всей жизни, где всем, всем людям будет хорошо. Сначала в классе, как сейчас, а потом и во всем мире. И хотя книга была как бы не об этом, но через голос учительницы получалось, что и это в ней есть.  
   Он чувствовал, что всем классом слушать Александру Ивановну, читающую эту книгу, гораздо слаще, чем одному. Оказывается, когда многие рядом с тобой наслаждаются книгой, гораздо слаще делается и тебе самому.  
   И Чик любил сейчас всех ребят класса за то, что они так послушно наслаждаются. Ну, Александру Ивановну он и всегда любил больше всех остальных учителей.  
   Он любил ее старое, морщинистое лицо в пенсне, ее высокую, легкую фигуру в аккуратном сером пиджаке и этот ровный голос, старающийся не выдавать того, что она сама чувствует при чтении, чтобы не было взрослой подсказки, где смеяться, а где горевать. Чик и за это ей был благодарен.  
   Чик вспомнил свое далекое, в первом классе, знакомство с Александрой Ивановной. Какой он был тогда глупый! Он пришел в первый класс с опозданием. Его не хотели принимать, потому что он недотягивал по возрасту. А потом приняли.  
   И он, не зная школьных правил, в первое время то и дело попадал впросак. Так, он долго не мог понять, что в классе нельзя громко разговаривать. Почему? Разве кто-нибудь спит или больной?  
   Школа предлагала ему во время урока как бы заснуть для жизни, чтобы проснуться для учебы. А Чик, громко разговаривая, как бы отстаивал прекрасную возможность одновременно жить для жизни и жить для учебы. И снова начинал громко разговаривать с соседями.  
   Наконец Александре Ивановне надоела непонятливость Чика, и она ему предложила выйти из класса, тем более что он уже тогда был громкоголосым. И Чик стал собирать портфель, чтобы выйти вместе со своими вещами, а класс вдруг стал хохотать над ним. И Чика больно пронзил этот гогот класса.  
   Он растерялся и посмотрел на Александру Ивановну, не понимая, почему над ним смеются. И вдруг увидел, что она тоже смеется над ним, но смеется, любя его. Чик вгляделся в нее: да-да, смеется любя! И у Чика сразу отлегло! Если бы школьники своим смехом хотели унизить его, она бы не могла вместе с ним смеяться любя! Его любимый дядя Риза тоже часто так смеялся над ним.

И Чик точно знал: смеяться любя – это еще больше любить.  
   Александра Ивановна, продолжая смеяться, показывала рукой, что портфель можно оставить в парте, а самому выйти из класса. Чик неохотно оставил портфель и вышел. Он все-таки не мог понять, почему он должен оставить портфель. Видимо, сказывалась детская привычка, выходя из игры, забирать с собой свои игрушки.  
   И все эти годы в школе над Чиком сияла любящая улыбчивость Александры Ивановны, и он привык к этому и думал, что это будет вечно. Чик не знал, что через год литературу и русский язык будет преподавать директор школы Акакий Македонович и тогда не только не будет любящей улыбчивости, но и кончится праздник литературы. Она поскучнеет, как и сам Акакий Македонович.  
   И Чику будет так странно и грустно видеть, как Александра Ивановна легкой и быстрой походкой проходит по школьному коридору, но теперь всегда, навсегда идет не к ним в класс, а в другой, в другие.  
   И это будет так странно, так грустно, как если вдруг мама, возвращаясь с базара, повернет в другой двор и каждый раз будет поворачивать в другой двор и никогда не будет поворачивать к себе домой, к нам домой.  
   Чик не знал, что это тоска по вечному. Детство верит, что все будет вечно: и мама, и солнце, и мир, и любимая учительница. А тут вдруг вечность укоротилась на Александру Ивановну. Она как бы есть, и ее как бы нет. И Чик, продолжая любить Александру Ивановну, старался не попадаться ей на глаза. Не то чтобы избегая, но старался не попадаться ей на глаза. Было как-то стыдновато. Получался какой-то обман природы. Только разогнался вечно любить Александру Ивановну, а тут вдруг вместо нее Акакий Македонович со своей вечнозеленой шляпой. Чик, конечно, не сравнивал. Он это чувствовал.  
   Но сейчас до этого было далеко-далеко! Этого даже не было вообще. В классе струился и струился голос Александры Ивановны. И чем больше Чик слушал, тем сильнее ему нравился Савелич. Вот чудило! И как он предан своему барчуку, и как бесстрашно готов защищать его. Прямо как наседка цыпленка!  
   Чика уже учили, что холопство – это плохо. И он с этим был согласен. Но хоть Савелич по должности был холоп и его преданность барину надо было презирать, Чик не только не чувствовал этого презрения – он просто обожал его.  
   Сам готов каждую минуту умереть за своего барчука, а сам ворчит, ворчит, ворчит. И то ему не так и это ему не так. Как будто он барин. Он барин своей преданности. Вот таких преданных ворчунов Чик обожал больше всех на свете.  
   Преданных, которые никогда не поворачивают на тех, кому они преданы, Чик не любил. Они такие скучные! Ходят с таким надутым выражением: мол, преданными быть очень трудно. Смотрите, смотрите, какие мы преданные! Думаете, легко быть преданными? Очень трудно быть преданными! Но вот мы преданные и не ворчим.  
   Чик даже не очень верил в такую преданность. Да ты лучше поворчи, как Савелич, тогда и видно будет, насколько ты предан. Нет, не ворчат! Ну и катитесь со своей скучной преданностью!  
   Каждый раз, когда по ходу чтения должен был появиться Савелич, Чик переглядывался с одним учеником. Звали его Сева. Они, переглядываясь, понимающе улыбались друг другу: сейчас, сейчас Савелич учудит что-нибудь смешное.  
   Чик всегда переглядывался с Севой. Когда в классе надвигалось что-нибудь смешное, а другие ученики еще не понимали, что смешное надвигается, они уже переглядывались и кивали друг другу. Было приятно чувствовать, что они уже знают о приближении смешного, а класс еще ничего не подозревает. Скрипит себе перьями или шушукается.  
   Этот Сева был удивительный пацан. Он смешное замечал даже лучше Чика. Он не был шумным шалуном, но не был и тихоней. Он был спокойным, вот что удивительно.  
   Учился хорошо, но и не лез в отличники. Одевался довольно бедно, но всегда чистый и аккуратный. Сидит себе такой глазастик с круглой светло-курчавой головой и только посматривает внимательно по сторонам, где бы высмотреть что-нибудь смешное. Даже на контрольной он находил время заметить и обратить внимание Чика на мальчика, который так увлекся шпаргалкой, что прямо сунул голову в парту, забыв, что учитель его вот-вот накроет.  
   В прошлом году к ним в класс пришел новичок, который каждый день перед большой переменой на уроке потихоньку съедал свой завтрак, принесенный из дому. Жадный, боялся, что попросит кто-нибудь на переменке.  
   Сева первый это приметил, хотя ученик сидел далеко от него и ел исключительно осторожно. И с тех пор Сева и Чик не пропускали ни одного дня, чтобы не полюбоваться глупой жадностью этого мальчика. И мальчик давно заметил, что Сева и Чик следят за его тайными завтраками, и всем своим видом показывал, что неприятно удивлен их вниманием.  
   Незадолго до большой перемены Сева и Чик начинали глядеть на этого мальчика, как бы поощряя его: давай начинай! Мальчик обидчиво надувался, как бы говоря: захочу – начну, захочу – нет! Но все равно начинал. Особенно смешно было, что он после каникул думал, что Сева и Чик за лето подзабыли о нем. Но не тут-то было! Только он полез одной рукой в парту, чтобы подготовить бутерброд для укуса под партой, как был пойман взглядами Севы и Чика: никуда не уйдешь, начинай!  
   Сева сразу заметил, что математик проявляет смешную странность. Если он приходил на урок не в духе, всегда первым вызывал к доске одного и того же мальчика. Самого тихого ученика, единственного очкарика во всем классе.  
   Бывало, входит математик туча тучей, садится за стол, открывает журнал. А Сева уже переглядывается с Чиком и кивает на того мальчика. А тот ничего не подозревает, скромно сидит себе за своей партой.  
   – Анциферов, к доске!  
   Анциферов вздрагивает, поправляет очки и идет к доске.  
   Однажды на переменке Сева подозвал Чика своей улыбкой. Чик охотно подошел.  
   – Видел вчера нашего математика. Он с женой шел с базара, – сказал Сева, глядя с улыбкой на Чика и предлагая начать веселиться.  
   Чик решил, что веселиться рановато.  
   – Ну и что? – пожал он плечами. – Многие мужчины сейчас ходят с женщиной на базар. Это до революции они стыдились ходить на базар с женщиной.  
   – Я за ними пристроился, – сказал Сева, продолжая лучезарно улыбаться, – они всю дорогу ругались.  
   Чик и тут не нашел большого повода для веселья.  
   – Ну и что? – настаивал Чик на более веских доказательствах. – Многие мужчины ругаются со своей женой. Я слышал.  
   – Она была в очках, – добавил Сева и расплылся.  
   – Ну и что? – упорствовал Чик, требуя более четкого определения повода для веселья, хотя смутно что-то почувствовал. – Многие женщины ходят в очках. Ничего особенного.  
   Сева, продолжая лучезарно улыбаться, таинственно кивнул на Анциферова. Чик глянул на Анциферова, и вдруг, как молнией, его пробило: тут очки и там очки! Он злится на жену и, приходя в класс, рокочет, как гром:  
   «Анциферов, к доске!»  
   Далеко же Сева видел смешное! Ох как далеко!  
   В другой раз на уроке истории учитель рассказывал об одном древнегреческом полководце. Чик случайно взглянул на Севу. Он сидел в другом ряду впереди Чика. Оказывается, Сева уже вовсю улыбается и кивает на учителя. Оказывается, он уже давно видит смешное.  
   Но это был очень хороший учитель, и полководец, о котором он рассказывал, был грозный полководец. Чик приглядывается к учителю, прислушивается к его словам: ничего смешного! Чик снова прислушивается. Нет, все в порядке, и учитель здорово говорит, и полководец шутить не любит. А Сева все кивает! Скоро урок кончится, а Чик ничего не поймет! И вдруг его осенило! Очень уж горячо учитель истории рассказывал о греческом полководце! А сам по национальности грек! Своих нахваливает, своих! – вот что означали улыбки и кивки Севы.  
   И в самом деле, Чик вспомнил, о полководцах других древних народов он так горячо не говорил. Ну, там Дарий, Цезарь, Ганнибал. Было от чего погорячиться, но там он что-то не слишком горячился.  
   Они тогда тихо и хорошо повеселились на уроке. Все, что ни говорил учитель, становилось смешным. Потому что он был грек и, рассказывая о древнегреческом полководце, горячился. А ребята только косились на Чика, не понимая, почему он трясется от тихого смеха. Они, конечно, знали, что учитель грек, но им и в голову не приходило, что он болеет за древнегреческого полководца. Очень уж далеко это было!  
   Сева жил на горе недалеко от того места, где обитали рыжие волчата. Однажды Чик пришел к нему домой, и они вместе вышли на склон рвать молочай для свиньи. Севин отец держал свинью. Они набрали целый мешок молочая, и, пока рвали его, Сева успел рассказать Чику про свою свинью столько забавного, что Чик от смеха чуть не скатился с горы.  
   Эта свинья очень дружила с собакой Севы. Если его собака сцеплялась с каким-нибудь бродячим псом, свинья бежала на помощь. Где бы она ни была, она по голосу узнавала, что ее друг в беде, и бежала на выручку, еще издалека воинственным визгом пугая чужую собаку.  
   Это была исключительно храбрая свинья и так предана Севиной собаке, как будто она сама ее родила. Иногда, завидев бродячую собаку, она первая шла на нее и оглядывалась на своего дружка, стараясь увлечь его на боевые действия. Иногда Севиной собаке неохота было драться. Но неудобно – свинья уже в атаке. Приходится бежать за ней.  
   Она так любила Севину собаку! Иногда, когда собака лежала во дворе, свинья приходила и укладывалась рядом с ней, норовя положить голову на спину собаке. А Севиной собаке неловко встать и уйти, потому что она знает, как свинья ее любит и как она предана ей. И вот свинья похрюкивает, положив голову на спину собаке, а собака молчит, терпит, только старается дышать в сторону, чтобы воняло поменьше. Иногда даже перпендикулярно к небу вытягивала голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но не уходила, не могла обидеть преданную свинью.  
   Да, Сева это Сева! Вот так Чик сидел в классе, наслаждаясь чтением Александры Ивановны и каждый раз переглядываясь с Севой, когда появлялся Савелич.  
   Вдруг в классе раскрылась дверь и вошел неизвестный мужчина. Ребята, грохнув крышками парт, вскочили. Мужчина, красиво склонившись в сторону Александры Ивановны, спросил:  
   – Можно?  
   – Пожалуйста, – сказала Александра Ивановна с улыбкой и уступила ему свое место.  
   Чик заметил, что девочки ожили и зашушукали: «Отелло! Отелло!» Мужчина движением руки посадил ребят и сам сел, скрипнув стулом. Александра Ивановна села напротив него на первую парту.  
   – Ребята, – сказал мужчина, – я артист местного драматического театра. Зовут меня Евгений Дмитриевич Левкоев. Я сейчас веду драмкружок в вашей школе. Я ищу талантливых, сценически одаренных школьников. Есть они у вас?  
   Некоторые девочки смущенно подхихикнули. Ребята молчали. Чик впервые видел артиста в такой близости. Он еще совсем маленьким один раз был в городском театре. И ему там больше всего понравилась изображенная при помощи световых эффектов быстро мчащаяся машина. Было очень похоже.  
   Артист был в голубом костюме и в голубом галстуке, и глаза у него были голубые. Он был немолодым крупным человеком с длинной жилистой шеей, чем-то похожий на отяжелевшего, одышливого орла. Чик видел таких голошеих орлов в приезжем зверинце. Они неподвижно стояли на камнях, приоткрыв клювы и тяжело дыша. Чик жалел их. Было ясно, что они привыкли к высоте и им трудно тут в потном летнем городе.  
   Чика удивило выражение лица артиста. Оно у него было брюзгливое. По лицам некоторых гостей, которые приходили к ним домой или к тетушке, Чик заметил, что такое выражение бывает как раз у тех из них, кто слишком любит вино. И Чик никак не мог понять, почему у этого артиста такое же брюзгливое выражение на лице. Ему тогда и в голову не могло прийти, что артист тоже может увлекаться вином.  
   – Ну что? – клекотнул Евгений Дмитриевич, задирая голову и оглядывая класс, как если бы ученики сидели не в этом маленьком помещении, а в общей зале человек на двести. Чик и Сева откровенно переглянулись.  
   Некоторые девочки уже начали подталкивать друг друга, яростно перешептываясь. Однако все молчали.  
   – Кто у вас выразительно читает стихи и басни? – спросил Евгений Дмитриевич и посмотрел на Александру Ивановну, опять задирая голову выше, чем надо.  
   Александра Ивановна несколько заволновалась, смущенно улыбнулась, оглядывая класс, потом снова повернулась к Евгению Дмитриевичу и что-то ему сказала. Потом она опять повернулась лицом к классу, поймала глазами Чика и кивнула:  
   – Чик, выходи!  
   Чик уже знал, что без него не обойдется. Он был самым громкоголосым в классе и считался начитанным мальчиком. Смешно было бы думать, что дело обойдется без него. Но Чик не хотел начинать первым. С такой карты не начинают! И он пытался это объяснить знаками, но Александра Ивановна его не поняла, она решила, что он смущается.  
   – Иди, Чик, иди, – повторила она, окидывая его улыбкой.  
   Ребята начали посмеиваться, тем более что Евгений Дмитриевич, опять задрав голову, искал Чика совсем в другом конце класса.  
   Чик вышел, встал рядом со столом и прочел свое любимое революционное стихотворение, где мать и сын сражаются на баррикаде (сын явно не старше Чика) и оба, пронзенные пулями, умирают, обнявшись.  
   Чику и раньше нравилось это стихотворение, потому-то он его и прочел. Вообще-то стихи ему редко нравились. Но это стихотворение очень нравилось.  
   А тут как только он начал читать, какая-то сила вздернула его, трепанула, ударила в голову, и Чик загудел стихами, как мотор. Сила откуда-то бралась сама. Чик только голосу подпускал. И он, читая, заново почувствовал неимоверную жалость к героической маме и героическому мальчику.  
   – Да, – сказал Евгений Дмитриевич, когда Чик кончил читать, и, опять приподняв голову, оглядел Чика так, как если бы Чик был вдвое выше, – да, когда бы все так чувствовали поэзию…  
   Чик продолжал стоять, ощущая в себе прилив огромных и, главное, совсем не исчерпавшихся сил. Он теперь прилаживался запустить «Белеет парус одинокий». Но его никто не просил. А сам он был так оглушен собственным чтением, что не расслышал Александру Ивановну, попросившую его сесть на место.  
   Чик продолжал стоять. Класс начал смеяться. А Александра Ивановна встала и, улыбаясь, подтолкнула Чика к его месту. Чик машинально двинулся к своей парте. Дошел, раздумчиво постоял возле нее, как бы ожидая, что его вернут, а потом вяло сел. Он еще не понимал, что такого рода артистическое рвение принято скрывать.  
   После Чика еще двое мальчиков и две девочки читали стихи и басни. Но это было жалкое зрелище. Евгений Дмитриевич во время их чтения несколько раз находил глазами Чика и, качая головой, смотрел на него, как Посвященный на Посвященного. Чик уже остыл, и ему ужасно понравились эти взгляды. Чик давно заметил, что так переглядываются интеллигентные люди, когда другие люди, находясь рядом, начинают умничать и рассуждать. Прозвенел звонок.  
   – Завтра в пять часов в пионерской комнате, коллега, – добродушно клекотнул Евгений Дмитриевич и, потрепав Чика по шее, вышел из класса.  
   Чик был очень польщен его шутливыми словами.  
   На следующий день в назначенное время Чик пришел в пионерскую комнату. Там уже собралось человек десять мальчиков и девочек из других классов. Они были ровесники Чика или чуть постарше.  
   Евгений Дмитриевич окончил занятия со старшеклассниками и занялся новичками. Сразу же узнав Чика, он радостно клекотнул и не забыл посмотреть на него, как Посвященный на Посвященного. Чик с удовольствием принял этот взгляд и ответил ему таким же. Это было все равно как с Севой. Только там дело касалось смешного, а тут искусства. А в остальном одно и то же.  
   Евгений Дмитриевич объяснил ребятам, что школе предстоит подготовить к городской олимпиаде постановку по произведению Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде».  
   Теперь для проверки способностей он давал мальчикам и девочкам прочесть кусочек из этой сказки. Мальчики и девочки стали читать. «А девочки зачем? – подумал Чик. – На роль бесенка, что ли?» Многие из них, особенно девочки, ужасно волновались, сучили ногами или неожиданно всплескивали руками.  
   Видимо, от волнения они, начиная читать, путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить было нечего. С громогласностью было совсем плохо. Шептуны какие-то. Таким голосом еще кое-как можно было подсказывать на уроке, а не выступать в городском театре, где должна была проходить олимпиада.  
   Чик чувствовал себя до того уверенно, что, когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации или неправильно произносил слово, поправлял чтеца, стараясь при этом переглянуться с Евгением Дмитриевичем взглядом, подтверждающим правильность его, Чика, Посвященности. Евгений Дмитриевич отвечал на эти взгляды несколько утомленными, но не отвергающими Посвященность Чика взглядами.  
   Когда дело дошло до Чика, он спокойно прочел заданный кусок. Чик читал с легким утробным гудением, что должно было означать наличие неимоверных голосовых сил, которые пока сдерживаются дисциплиной и скромностью чтеца.  
   – Вот ты и будешь Балдой, – клекотнул Евгений Дмитриевич.  
   Чик ничего другого и не ожидал. Одному мальчику из параллельного класса, который читал с ужасным мингрельским акцентом, Евгений Дмитриевич сказал:  
   – Ты свободен.  
   Чику стало жалко этого мальчика. Другим он или ничего не сказал, или дал знать, что должен еще подумать об их судьбе. А этому прямо так и сказал.  
   Кстати, звали его Жора Куркулия. Это был такой светлоглазый крепыш со смущенной улыбкой и широким деревенским румянцем на лице. По акценту, с которым Жора говорил на русском языке, Чик точно знал, что мальчик этот вырос в деревне.  
   Любя своих чегемских родственников, Чик немного покровительствовал деревенским мальчикам, которые учились в городе. Встречаясь с Жорой на переменках, Чик гостеприимно кивал ему и как бы говорил: «Учись, Жора. Читай книги, ходи в кино, пользуйся турником, шведской стенкой, параллельными брусьями, и будешь не хуже нас, городских». Жора смущенно улыбался в ответ и как бы отвечал: «Я, конечно, постараюсь, если смогу преодолеть свою деревенскость». И вот Евгений Дмитриевич, не зная, что Жора деревенский, а с такими надо бы помягче, говорит ему обидные слова.  
   – Можно, я просто так побуду? – сказал Жора в ответ и улыбнулся жалкой, а главное, совершенно необиженной улыбкой.  
   Евгений Дмитриевич пожал плечами и, кажется, в этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия.  
   Наконец роли были распределены, и дети стали готовиться к выступлению на олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в пионерской комнате. Старшеклассники ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них разыгрывалась «Сказка о попе и о работнике его Балде».  
   Иногда Евгений Дмитриевич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда ребята досматривали хвост пьески, где гуляка-муж, которого сослуживцы и домашние долго уговаривали исправиться и который как будто склонялся на уговоры, но вдруг в последнее мгновение хватал гитару (на репетиции он хватал большой треугольник) и, якобы бряцая по струнам, запевал:  
  
     Я цыганский Байрон,  
     Я в цыганку влюблен.  
  
   – Не Байрон, а барон, запомни, – поправлял его Евгений Дмитриевич, но это не меняло сути дела. Из его пения ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков.  
   После нескольких репетиций Чик вдруг почувствовал, что роль Балды ему смертельно надоела. Честно говоря, Чику и раньше эта сказка не очень нравилась. Но он об этом подзабыл. А сейчас она и вовсе потускнела в его глазах.  
   И чем больше они репетировали, тем больше Чик понимал, что никак не может ощутить себя Балдой. Какое-то чувство внутри него оказывалось сильнее желания войти в образ. Это чувство с каким-то уличающим презрением к его фальшивым попыткам войти в образ преследовало его на каждом шагу.  
   Пока еще разучивали текст, громогласность и легкость чтения давали Чику некоторые преимущества над остальными ребятами, и он продолжал переглядываться с Евгением Дмитриевичем взглядом Посвященного.  
   Этот взгляд Посвященного Чик в первое время ухитрялся распространять даже на постановку старшеклассников, когда они заставали их за репетицией. Чаще взгляд Посвященного вызывал все тот же гуляка-муж, упрямый не только в своем распутстве, но и в искажении своей песенки:  Я цыганский Байрон,  
     Я в цыганку влюблен.  
  
   Но потом, когда все стали разыгрывать свои роли, Чик почувствовал бездарность своего исполнения, однако все еще преувеличивал достоинства своей громогласности и все еще продолжал бросать на Евгения Дмитриевича уже давно безответные взгляды Посвященного. В конце концов Евгений Дмитриевич не выдержал и на один из Посвященных взглядов Чика так клекотнул ему навстречу, что Чик вынужден был погасить в своих глазах это приятное выражение.  
   Чтобы оправдать перед самим собой свою плохую игру, Чик стал замечать все больше и больше недостатков в образе самого Балды. Так, Чика раздражал грубый и наивный обман, когда Балда, вместо того чтобы тащить кобылу, сел на нее верхом и поехал.  
   Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку пришлось подлезать под кобылу, Чик находил подлым и жестоким. Да и вообще мирные черти, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, почему-то были Чику приятней самоуверенного Балды.  
   А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на репетиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить место для сцены, открывал и закрывал окна, иногда бегал за папиросами для Евгения Дмитриевича.  
   Жора стал вроде завхоза маленькой труппы. К тому же оказалось, что он по воскресеньям ездит домой к себе в деревню и привозит оттуда великолепные груши «дюшес». Он приносил на репетицию сумку с грушами и всех угощал.  
   Евгений Дмитриевич тоже охотно ел сочные груши, вытянув длинную шею, чтобы не закапать костюм. Он со вздохом втягивал в себя нежный сок и с выдохом говорил:  
   – Божественно… Божественно… Ублажил, меценат.  
   – Чачу тоже могу привезти, – однажды сказал Жора, улыбаясь и кося глазами от смущения, – сами варим…  
   Чика рассмешило это предложение. Если бы Сева был здесь, он обязательно переглянулся бы с Чиком, обращая его внимание на хитрый заход Жоры. Ясно, что виноградную водку он не мог предложить пацанам, значит, он имел в виду Евгения Дмитриевича.  
   – Нет, спаивать труппу я тебе не позволю, – сказал Евгений Дмитриевич шутливо.  
   Но потом во время других репетиций он с какой-то забавной серьезностью спрашивал у Жоры, как у них в деревне готовят чачу, сколько виноградных отжимков идет на один самогонный котел и сколько бутылок первача получается с одного котла.  
   И тут Чик окончательно уверился, что Евгений Дмитриевич любит выпить. А Жора Куркулия все ему подробно объяснял. На его широком румяном лице все время порхала смущенная улыбка. И вдруг Чик понял, что Жора большой хитрец. Ведь он раньше Чика догадался, что Евгений Дмитриевич любит выпить. Иначе бы он не осмелился сказать такую глупость про чачу.

Взрослый человек да еще артист не станет брать выпивку у мальчика. Тут Жора сглупил. Но то, что Евгений Дмитриевич любит выпить, он понял точно. Но как? Это была загадка.  
   Однажды, когда ребята уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитриевич предложил Жоре роль задних ног лошади. Жора расплылся от удовольствия.  
   Лошадь была сделана из твердого картона, выкрашенного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два мальчика, один спереди, другой сзади. Первый просовывал свою голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена на винтах к туловищу, так что лошадь довольно легко могла двигать головой, и получалось это естественно, потому что и шея и винты были скрыты под густой гривой.  
   Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление всему туловищу, потому что там, сзади, второй мальчик находился почти в полной темноте. У него была единственная обязанность – оживлять лошадь игрой хвоста, к репице которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой – лошадь тряхнула хвостом. Оба мальчика соответственно играли передние и задние ноги лошади.  
   Жора Куркулия получил свою роль после того, как Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги, как выбивать звук галопирующих копыт. У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда он вылезал из-под крупа лошади, звук кое-как получался, а под лошадью он как-то сбивался.  
   – Вот так надо, – вдруг не выдержал Жора Куркулия и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими толстенькими ногами, довольно точно изобразил галопирующую лошадь.  
   Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравился Евгению Дмитриевичу. Он пытался заставить мальчика, игравшего задние ноги лошади, перенять этот звук, но тот никак не мог его перенять.  
   После каждой его попытки Жора выходил и точным топотанием изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять. У мальчика получалось гораздо хуже, и Евгений Дмитриевич поставил Жору на его место.  
   Иногда перед репетицией или после Евгений Дмитриевич снова возвращался к самогонному аппарату и спрашивал про разные фрукты, из которых готовят водку. Чик, умирая от внутреннего смеха, слушал этот мирный разговор большого и маленького. Он очень сожалел, что не может при этом перемигиваться с Севой. Так было бы гораздо интересней. Остальные ребята все принимали за чистую монету и уныло дожидались, когда Евгений Дмитриевич окончит этот скучный разговор.  
   Чика особенно смешило, что Евгений Дмитриевич, стараясь скрыть от Жоры удовольствие, которое он получает от своих расспросов, напускал на себя угрюмость. Как будто бы просто интересуется жизнью и обычаями местных народов. Но Чик теперь точно знал: любит, любит Евгений Дмитриевич это дело!  
   Иногда Евгений Дмитриевич, как бы очнувшись, раздраженно прерывал Жору:  
   – Ладно, хватит! Что ты завел: грушевая, тутовая! По местам. Начинаем!  
   – Нет, я так просто, – краснея и лукаво беря на себя вину, отвечал Жора, – сами варим! По-домашнему! По-селенски!  
   – Ты все же школьник, – клекотнув, прерывал его Евгений Дмитриевич, – не надо об этом!  
   На одной из следующих репетиций вдруг из-под задней части лошадиного брюха без всякой на то причины Куркулия издал радостное ржание.  
   «Ты смотри, как обнаглел, – удивился Чик. – Оказывается, люди из долинных деревень – это совсем не то что горцы. А я путал, как дурак. Думал, там деревня и здесь деревня! Горцы – это совсем другое. Нет, Жора не горец!»  
   А Евгения Дмитриевича это ржание привело в восторг. Он немедленно извлек Жору из-под лошади и заставил его несколько раз заржать. Особенно понравилось Евгению Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцем, и в самом деле очень похожим на звук, которым лошадь заканчивает ржание.  
   – Все понимает, чертенок, – повторил Евгений Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору.  
   Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, игравшего передние ноги лошади, чтобы тот перенял это ржание. После нескольких унылых попыток этого мальчика, видимо, сразу же ошеломленного предательским ржанием задней части лошади, Евгений Дмитриевич махнул на него рукой и поставил Жору Куркулия на его место. Хотя толстые ноги Жоры больше подходили к задним ногам лошади, пришлось пожертвовать этим небольшим правдоподобием ради правильного расположения источника ржания.  
   Репетиции продолжались. Чик все еще продолжал придавать исключительное значение своей громогласности, которую с некоторой натяжкой можно было отнести за счет нахрапистости Балды. Чик чувствовал бездарность своего исполнения, но не замечал, как эта бездарность постепенно переходит в недобросовестность. Он совсем не повторял дома свой текст.  
   Однажды, когда он, забыв строчку, споткнулся, вдруг лошадь обернулась в его сторону и протянула:  
   – Попляши-ка ты под нашу бал-ля-ляй-ку!  
   Все рассмеялись, а Евгений Дмитриевич сказал:  
   – Тебе бы цены не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента…  
   Иногда Жора подсказывал и другим ребятам. Видно, он всю сказку выучил наизусть.  
   Однажды Чик на своей улице играл с ребятами в футбол. И вдруг со стороны школы мчится Жора Куркулия. Он бежал и на ходу делал какие-то знаки руками, явно имевшие отношение к Чику. Сердце у Чика екнуло. Ему давно пора было идти на репетицию, а он спутал дни недели и думал, что надо идти туда завтра. Жора Куркулия приближался, жестами выражая великое недоумение по поводу того, что случилось.  
   Было ужасно неприятно видеть его приближение. И Чик вдруг вспомнил, что точно так же ему однажды было неприятно видеть приближение старушенции библиотекарши. Но где эта старушенция и где Жора Куркулия? Он стал вспоминать случай с библиотекаршей, чтобы понять, что их соединяет, одновременно чувствуя всю глупую неуместность этого воспоминания.  
   Чик тогда потерял книгу, взятую в библиотеке, и старушенция уже извещала его о необходимости немедленно возвратить книгу. Она извещала его об этом в письме, написанном ведьминским коготком на каталожной карточке с дыркой. Чик не понимал, зачем эта дырка нужна в карточке. Он только вспомнил, что в одной книге описывалась тюремная камера. И там в дверях был глазок. Чик поднес карточку к лицу и посмотрел в дырочку, и ему стало грустно.  
   Все же он тогда решил, что как-нибудь обойдется. Он готов был вместо потерянной отдать любую книгу из своей маленькой библиотечки. Даже две, даже три! Но его цепенила необходимость объясняться с этой ехидной старушенцией. Она же все равно не поверит ни одному его слову!  
   И вдруг он сидит на самой макушке груши, а старушенция, как в страшной сказке, появляется во дворе и спрашивает у соседей, где он живет. А соседи по простоте, конечно, не со зла, показывают не на квартиру, а на грушу, где он сидит. И она пошла прямо к дереву, а Чик сам одеревенел и не знал, что делать.  
   И вот она подошла к дереву, выискала его глазами, погрозила пальцем и заверещала:  
   – Что, решил на дереве от меня спрятаться? Слезай, слезай, негодный мальчишка!  
   О, если бы груши были боевыми гранатами! Он бы забросал ее сверху! Но груши – это только груши. И он стал слезать. А куда денешься? Не улетишь – не птица. Получалось, что он спускается прямо ей в руки. Унизительно. В довершение всего, когда Чик уже был на полпути к земле и рядом не было ни одной плодоносной ветки, она вдруг сказала, странно подхихикивая:  
   – Нет чтобы угостить свою старую библиотекаршу свежей грушей! А ведь весь в долгах, как в шелках!  
   Чик в это время, раскорячившись, сползал по стволу. Он остановился и посмотрел вниз. Ему и в голову не могло прийти, что в таких случаях можно угощать. И ему стало как-то стыдно, что он ее не угостил, хотя и казалось очень странным угощать ее грушами. И он, глядя на нее в нерешительности, сделал как бы гостеприимное движение снова вскарабкаться на макушку.  
   Но она махнула рукой и опять подхихикнула:  
   – Слезай, слезай! Что тебе старая библиотекарша?  
   С этими словами она ловко крутанула длинной юбкой и подняла с земли грушу. Чик точно знал, что это не паданец. Эту великолепную грушу он случайно уронил, дотягиваясь до нее. Правда, она разбилась с одного боку, но была вполне хорошей.  
   Чик молча стал слезать, удивляясь, что она и тут, на дереве, настигла его своим ехидством. Он тогда ей дал книгу «Рассказы о мировой войне», и она на этом успокоилась, но Чик перестал ходить в городскую библиотеку.  
   Эту старушенцию и другие дети не любили. Она всегда ухитрялась всучить не ту книгу, которую ты сам хочешь прочесть, а ту, которую она тебе хочет дать. Она всегда ядовито высмеивала попытки Чика отстаивать свой вкус. Бывало, чтобы она отвязалась со своей книгой, скажешь, что ты ее читал, а она заглянет в глаза и спросит:  
   – А о чем там рассказывается?  
   Когда они вошли в пионерскую комнату, Евгения Дмитриевича там не было. У Чика мелькнула надежда, что все обойдется. Он стал лихорадочно переодеваться. У него было такое чувство, что если он успеет надеть лапти, косоворотку и рыжий парик с бородой, то сам как бы исчезнет и некого будет ругать.  
   И Чик в самом деле успел переодеться и даже взял в руки толстую, упрямо негнущуюся противную веревку, при помощи которой Балда якобы мутит чертей. В это время в комнату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмотрел на Чика, а Чик как-то притаил свою сущность под личиной Балды.  
   Чику он показался не очень сердитым, и у него мелькнуло: хорошо, что успел переодеться.  
   – Одевайся, Куркулия, – вдруг клекотнул Евгений Дмитриевич и, взглянув на Чика, как бы не замечая облика Балды, а видя только Чика, добавил: – А ты будешь на его месте играть лошадь.  
   Чик стал раздеваться. И хотя до этого он не испытывал от своей роли никакой радости, он вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида была так глубока, что он не стал протестовать против роли лошади. Если бы он стал протестовать, всем стало бы ясно, что он очень обижен.  
   Жора Куркулия стал поспешно одеваться, время от времени удивленно поглядывая на Чика, словно хотел сказать: как ты можешь обижаться, если сам же своим поведением довел до этого Евгения Дмитриевича? Каким-то образом его взгляды, направленные на Чика, одновременно с этим выражали и нечто противоположное: неужели ты и сейчас не огорчен?  
   Чик старался не выдавать своего состояния. Жора Куркулия быстро оделся, подхватил негнущуюся веревку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозив сделать ее в ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Евгенией Дмитриевичем этаким ловким, подтянутым мужичком.  
   – Молодец! – клекотнул Евгений Дмитриевич.  
   «Молодец?! – думал Чик с язвительным изумлением. – Как же он будет выступать, когда он лошадь называет лещадью, а балалайку – баляляйкой?»  
   Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше Чика. Правда, произношение у него не улучшилось, но Евгений Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал находить достоинства и в его произношении, над которым сам же раньше смеялся.  
   – Даже лучше, – сказал он. – Куркулия будет местным кавказским Балдой.  
   А когда Жора стал крутить негнущуюся веревку с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит там, на дне, мозги всем чертям, при этом не переставая прислушиваться к тому, что якобы происходит под водой, Чику стало ясно: ему с ним не тягаться.  
   Чик смотрел на него, бесплодно удивляясь, что у Жоры все получается лучше. Но это его не только не примиряло с ним, но еще больше растравляло. «Если бы, – думал Чик, глядя на него из отверстий лошадиных глаз, – я мог поверить, что все это правда, я бы играл не хуже».  
   Не прошло и получаса со времени появления Чика на репетиции, а Куркулия уже верхом на нем и своем бывшем напарнике галопировал по комнате. В довершение всего напарник этот, раньше игравший роль передних ног, теперь запросился на свое старое место, потому что очень быстро выяснилось, что Чик галопирует и ржет не только хуже Жоры, но и этого мальчика. После всего, что случилось, Чик никак не мог бодро галопировать и весело ржать.  
   – Ржи веселее, раскатистей, – говорил Евгений Дмитриевич и, приложив руку ко рту, ржал сам как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно сзывал лошадей на пионерский праздник.  
   – Чик ржит, как голёдная лещадь, – пояснил Жора, выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул головой. Как быстро, думал Чик, Жора привык к своей новой роли, как быстро все забыли, что я еще полчаса тому назад был Балдой, а не ржущей частью лошади.  
   Чику пришлось переместиться на место задних ног. Оказалось, что сзади гораздо труднее: мало того, что там было совсем темно, так, оказывается, еще и Балда основной тяжестью давил на задние ноги. Видимо, радуясь освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшийся на свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич был очень доволен этим ржанием.  
   Так, начав с главной роли Балды, Чик перешел на самую последнюю – роль задних ног лошади, и ему оставалось только кряхтеть под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади взмывался хвост.  
   Но самое ужасное заключалось в том, что Чик как-то проговорился тетушке о своем драмкружке и о том, что он во время олимпиады будет играть в городском театре роль Балды.  
   – Почему ты должен играть Балду? – сначала обиделась она, но потом, когда Чик ей разъяснил, что это главная роль из сказки Пушкина, тщеславие ее взыграло. Многим своим знакомым и подругам она рассказывала, что Чик во время олимпиады будет играть главную роль по сказкам Пушкина – обобщала она для сокрытия имени главного героя. Все-таки имя Балды ее несколько коробило.  
   И вот в назначенный день Чик – за кулисами. Там было полным-полно школьников из других школ, каких-то голенастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом.  
   Чика вся эта тихая паника не трогала. Его волновала тетушка. Он высунулся из-за кулисы и увидел в полутьме сотни человеческих лиц. Он стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее он вдруг увидел Александру Ивановну. Это Чика почему-то взбодрило, и он на всякий случай запомнил место, где она сидела. А тетушки не было видно. У Чика мелькнула радостная мысль: а вдруг тетушку в последнее мгновение что-то отвлекло и она осталась дома? Она ведь так любила отвлекаться! Нет, она была здесь! Она была в третьем ряду, совсем близко от сцены. Она сидела вместе со своей подружкой тетей Медеей, со своим мужем и сумасшедшим дядюшкой Чика.  
   Зачем она его привела, для Чика так и осталось загадкой. То ли для того, чтобы выставить перед знакомыми две крайности их семьи: мол, есть и сумасшедший, но есть и начинающий артист. То ли просто кто-то не пошел, и дядюшку в последнее мгновение приодели и прихватили с собой, чтобы не совсем пропадал билет. Уже какие-то дети играли на сцене, а тетушка оживленно переговаривалась со своей подругой. Это было видно по их лицам. Чик понял, что для тетушки все, что показывается до его выступления, вроде журнала перед кинокартиной.  
   Чик вздохнул и с ужасом подумал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у него оставалась последняя надежда – надежда на пожар в театре. Чик знал, что в театрах бывают пожары. За сценой он сам видел двери с обнадеживающей красной надписью: «Пожарный выход!» Хоть бы она понадобилась! Чик вспоминал душераздирающие описания пожаров в театре и на пароходах. К тому же он увидал за сценой и живого пожарника в брезентовом костюме и в красной каске. Вдруг, думал Чик, этот пожарник сейчас ринется с места и все начнется? Нет! Стоит у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следит за мелькающими мальчишками и девчонками.  
   Но время идет, а пожара все нет и нет. И вот уже кончается пьеска, которую разыгрывают старшеклассники их школы, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку-мужа, должен, пробренчав на гитаре (на этот раз настоящей), пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние со страшным любопытством Чик прислушивался, ошибется на этот раз мальчик или нет.  
  
     Я цыганский… Байрон,  
     Я в цыганку влюблен, —  
  
   пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший за сценой недалеко от Чика, схватился за голову. Чику стало немного легче от того, что и Евгений Дмитриевич пострадал.  
   Но вот началось их представление. Лошадь должна была появиться несколько позже, поэтому Чик был свободен и высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда он высунулся, Жора Куркулия стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме тетушки. Даже сумасшедший дядя Чика смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться…  
   И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, признайся хотя бы, куда ты спрятал труп моего любимого племянника?»  
   У Чика оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из представления, сказав, что его в последний момент заменили на Жору Куркулия. Признаться тетушке, что он с роли Балды докатился до роли задних ног лошади, было невыносимо.  
   Интересно, что Чику и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего Балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывающее, что уж лучше Чик – униженный, чем Чик – отрекшийся от себя.  
   Голова тетушки уже слегка, по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела доказать, что даром загубила свою жизнь в заботах о близких. Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая свои толстые ноги. Играл он, должно быть, хорошо. Во всяком случае, в зале то и дело вспыхивал смех.  
   Но вот настала очередь Чика и его напарника. Евгений Дмитриевич накрыл их крупом лошади. Чик ухватился за ручку для вздымания хвоста, и они стали постепенно выходить из-за кулис.  
   Лошадь появилась на окраине сцены и, как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании Балды с Бесенком, стала подходить все ближе и ближе к середине сцены.  
   Появление лошади вызвало хохот в зале. Чик с удивлением почувствовал некоторое артистическое удовольствие от того, что волны хохота усиливались, когда он дергал ручку, вздымавшую хвост лошади.  
   Зал еще громче расхохотался, когда Бесенок пролез под лошадь и стал пытаться ее поднять. А уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, зал загрохотал от хохота.  
   Успех был огромный. Когда лошадь ушла за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и Евгений Дмитриевич вывел лошадь на сцену, придерживая ее за гриву. Тут раздался свежий шквал рукоплесканий, и Чику даже в темноте внутри лошади было понятно, что теперь зрители приветствуют не их, а своего любимого актера. Когда лошадь снова появилась, Жора Куркулия опять попытался взгромоздиться на нее, но Чик и его напарник не дались и стали отпрядывать, и зрителям это очень понравилось. И тогда Чик наугад стал лягаться и один раз попал копытом в толстое бедро Жоры. Зрители стали еще больше смеяться. Они думали, что все это заранее разыграно, а на самом деле Чик и его напарник очень устали и больше не хотели его катать. Особенно не хотел Чик.  
   И вдруг свет ударил Чику в глаза. Чик не сразу понял, что случилось. Буря плещущих рук! Лица! Лица! Лица! Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с них картонный круп лошади, и они предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках под масть лошади. А Евгений Дмитриевич стоял рядом и, задирая голову, кивал галерке. «Ах, вот откуда у него привычка смотреть выше, чем надо», – подумал Чик, уныло удивляясь, что ему в голову лезут неуместные мысли.  
   Как только глаза его привыкли к свету, он взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но как бы в предобморочном бессилии сползла набок.  
   И Чику стало тоскливо в предчувствии долгих укоров тетушки, которые он услышит дома. И чем сильнее зал аплодирует и смеется, тем хуже будет потом Чику. Ему стало совсем сиротливо, и он бессознательно потянулся глазами к тому месту, где сидела Александра Ивановна.  
   Она смеялась, как и все, но при этом смотрела на Чика любящим, любящим, любящим взглядом! Даже издали это ясно было видно. Волна бодрящей благодарности омыла душу Чика. Какая там разница: задние ноги, передние ноги, Балда? Главное, что всем смешно. Александра Ивановна! Вот кто Чика никогда не предаст, и Чик ее никогда в жизни не забудет!

А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дядюшка Чика пришел в восторг, увидев Чика, вывалившегося из брюха лошади. Сейчас он пытался втолковать тетушке, что именно Чик, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади. Бедняга не понимал, что именно это убивает тетушку.  
   Но стоит ли говорить о том, что Чик потом испытал дома? Не лучше ли мы крикнем отсюда:  
   – Занавес, маэстро, занавес!  
   Однажды, когда прозвенел звонок с последнего урока, Сева подозвал Чика своей улыбкой и кивнул на тетрадь, лежавшую у него на парте. Ребята с радостным грохотом покидали класс.  
   – Что? – сказал Чик, взглянув на тетрадь и все еще не понимая, как можно извлечь из нее веселье.  
   Сева, продолжая таинственно улыбаться, снова кивнул на тетрадь. Это была тетрадь из серии, посвященной столетию смерти Пушкина. На первой странице был рисунок, изображавший прощание Олега с конем, и напечатаны стихи «Песнь о вещем Олеге». У Чика была такая тетрадь, и он ее хранил, потому что тетради этой серии были большой редкостью. Но ему и в голову не приходило, что в ней может быть что-нибудь смешное.  
   Сева продолжал таинственно улыбаться.  
   – Что? Что? – спросил Чик, пытаясь понять намек Севы.  
   Класс опустел.  
   – Не знаешь? – спросил Сева.  
   – Нет, – сказал Чик, – а что?  
   – Здесь написано, – Сева ткнул пальцем на рисунок в тетради, – долой его.  
   Сева, продолжая таинственно улыбаться, кивнул на портрет, висевший на стене. На портрете Сталин обнимал девочку Мамлакат.  
   Вредители! Чик так и похолодел.  
   – Не может быть! – воскликнул он.  
   – Да, да, – подтвердил Сева, – только здорово замаскировано. Надо долго искать. Хитрюги! Но я сам доискался. Хочешь, одолжу тетрадь?  
   – У меня есть такая! – крикнул Чик. – Я сам найду!  
   – Ищи, – сказал Сева, продолжая улыбаться, – потом расскажешь. – Он с улыбкой взглянул на Чика, ожидая ответной понимающей улыбки.  
   Но Чик не мог улыбнуться. Он силился, но никак не мог понять, что же Сева находит в этом смешного. Ничего смешного в этом нет.  
   – Завтра поговорим, – неопределенно бросил ему Чик.  
   Чик от волнения почти бежал домой. Он много слышал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом нанесенных на папиросные коробки, на санитарные плакаты, на книги о революции и даже на детские кубики.  
   Но сам он их никогда не видел. Люди рассказывали. Как-то так получалось, что никогда под рукой не оказывалось предмета с ядовитыми знаками вредителей, откуда они попискивают: мы есть, мы есть!  
   И только один раз в жизни он видел такой предмет, но тогда все кончилось как-то плохо.  
   Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей.

Дядю одного не отпускали на море как сумасшедшего. А Чика одного не отпускали, потому что он еще был пацаном. А вместе их отпускали. Чика с дядей отпускали как ребенка со взрослым. А дядю с Чиком отпускали как сумасшедшего с разумным человеком.  
   И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания. Дядя напевает себе песенки собственного сочинения, на плече у него удочка без крючков, а Чик шагает рядом.  
   И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого выхода на улицу Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу понял, что там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояли несколько подростков.  
   – Вредители! Вредители! – слышалось то и дело.  
   Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге отчетливой тушью был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним были написаны оскорбительные слова.  
   – Я иду с моря, а это здесь валяется, – говорил мальчик, державший в руке эту бумагу.  
   – Пацаны, вот вредитель! – вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, а Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения. В самом конце пустыря на улицу сворачивал какой-то человек.  
   Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя: «Вредитель! Вредитель!» – они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему гадливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился.  
   Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил: он, он подбросил эту подлую самодельную открытку!  
   Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки.  
   – Нельзя! – вдруг раздался громовой голос дяди Коли.  
   Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал:  
   – Иди, мамочка, иди…  
   – Спасибо, товарищ, – сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной. – Я… я ничего не понимаю.  
   Ребята снова зашумели.  
   – Удушу мать! – крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство, но сейчас он его произнес предупредительно.  
   – А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это? – загалдели ребята.  
   Чик почувствовал себя в сложном положении.  
   – Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший! – стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда.  
   – Ат (Прочь! – на его жаргоне)!!! – вдруг за-орал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами.  
   Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел.  
   У дяди Коли была такая особенность. Иногда на людях он не любил узнавать своих. Наверное, ему казалось, что чужие, незнакомые люди принимают его за нормального человека, а свои как бы выдают, что это не совсем верно. И если уж он не хочет тебя узнавать, связываться с ним было опасно.  
   – Какие консервы? Я ничего не понимаю! Я приехал в командировку, остановился в гостинице «Рица», в двенадцатом номере, – самим голосом пытаясь успокоить толпу, говорил человек.  
   – Дурачки, дурачки, – односложно успокаивал его дядя.  
   Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш.  
   С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку.  
   – Справка, справка, – сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу.  
   Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он помогал им, когда находил нужным.  
   Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. Все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака. При этом он мельком бросил взгляд на толпу притихших ребят, как бы осознавая, что этот человек ему уже помог, так что, может, и его справка пригодится. Может, вообще в этом городе все так положено. Все это Чик прочитал на лице этого человека и вдруг тоскливо усомнился, что он вредитель.  
   – Сумасшедшие, – сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленышам.  
   – Вот именно, какое-то сумасшествие, – подтвердил человек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить.  
   До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрекача, значит, он действительно вредитель. А если просто так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота.  
   Тут к толпе ребят подошел милиционер.  
   – Дядя милиционер, он вредителя отпустил! – загалдели пацаны, бесстрашно показывая пальцем на дядю Чика.  
   Дядя ужасно не любил, когда на него показывают пальцем, но ребята этого не понимали.  
   – Он за угол завернул! Он еще близко! – кричали они, почувствовав подмогу.  
   Милиционер, вместо того чтобы ловить вредителя, так цыкнул на них, что ребята разбежались в разные стороны. Волна возбуждения была разбита. И Чик успокоился окончательно.  
   А дядя в это время жестами и голосом пытался рассказать милиционеру, как глупо вели себя эти ребята.  
   – Ничего, Коля, ничего! Все пройдет! – говорил милиционер, успокаивая дядю. Он дружески похлопывал его по плечу. Видно, они были давно знакомы.  
   Чувствуя за собой некоторую вину, Чик подобрал удочку и пристойно вручил дяде. Дядя рассеянно кивнул ему, давая знать, чтобы Чик не приставал к нему, пока он дружески разговаривает с милиционером. Наговорившись, он повеселел и уже бодро зашагал рядом с Чиком, держа на плече свою удочку и напевая свои песенки.  
   Вот что случилось в прошлом году. А теперь вредители добрались до тетрадей, и, значит, Чик доберется до них, потому что у него есть такая тетрадь.  
   Да! Наконец-то он доберется до них! Чик бежал домой и с каким-то жутким азартом думал, как он достанет тетрадь и начнет выковыривать оттуда тайные знаки вредителей. А вдруг тетрадь куда-нибудь запропала? А вдруг кто-нибудь из вредителей пробрался к ним в дом и утащил тетрадь, чтобы Чик их не разоблачил?  
   От них всего можно ожидать! До них, конечно, уже дошло, что Чик давно подбирается к ним. И они на всякий случай могли выкрасть эту тетрадь. Сначала тетрадь, а потом, может, и самого Чика, если он не угомонится. Жутко! Весело!  
   Под самыми окнами Чика ребята играли в футбол. Улица Чика на улицу Бочо. Вместе с ребятами с улицы Бочо играла девочка. Она часто с ними выступала. И она играла неплохо. Но Чик терпеть не мог, когда девочка играет в футбол. Как-то неприятно во время игры сталкиваться с потной девчонкой. Фальшь! Фальшь! И нечего трясти юбкой и нарочно кричать грубые слова, чтобы перемальчишить мальчишек.  
   Чик был за равенство между мужчиной и женщиной. Но только не в футболе. Футбол – мужская игра. Любые другие игры – пожалуйста! Но только не футбол. Фальшь!  
   – Чик, – крикнул Анести, – где ты пропадаешь? Мы проигрываем! Становись вместо Абу нападающим! Абу, уходи, чтоб я не видел тебя!  
   – За что?! – крикнул Абу.  
   – Ты даже с аута не можешь на голову подать мяч, – отвечал Анести, – какой ты игрок? Кандёхай!  
   Играть в футбол или разоблачать вредителей родины? Чик предпочел долг.  
   – Я не буду играть! Мне некогда, – сказал Чик и вошел в калитку.  
   – Он заучился, заучился, – раздался позади ехидный голос Шурика.  
   Мама стирала во дворе и не заметила, что Чик влетел в дом. Чик бросил портфель, подбежал к столу, в ящике которого лежали книги и тетради. Дернул ящик – тетрадь на месте! Не успели! Чик опередил.  
   Сидеть! Сидеть! Не отзываться ни на какие призывы с улицы или со двора. Чик положил тетрадку на стол, сел, придвинул поудобней стул и приступил к благородной экзекуции извлечения вредительских знаков, упрятанных на рисунке обложки.  
   Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня перед тем, как навсегда расстаться с ним. Под рисунком в два столбика с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  
   Через несколько минут Чик обнаружил букву «Д», искусно замаскированную в виде стремени. Первая буква подлого призыва – это была крупная добыча.  
   «Ну и негодяи, ну и хитрецы!» – подумал Чик, радуясь и продолжая поиски. Он долго искал букву «О», но никак не мог ее найти. Поэтому он в конце концов решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву «О». Это открытие принесло Чику меньше исследовательского удовольствия. Тут он почувствовал некоторую натяжку. Получалось, что сразу подряд идут четыре «О».  
   «О», «О», «О», «О». Негодяи!» – можно было воскликнуть, но это делу не помогало.  
   Для той надписи, о которой говорил Сева, достаточно было двух «О». Как быть? В голове у Чика мелькнула догадка: а что, если на рисунке упрятана еще одна вредительская надпись, которую Сева не заметил? Тогда для нее пригодятся эти два лишние «О».  
   И Чик решил изменить метод поисков. Он решил не задаваться целью искать буквы по ходу вредительской надписи, а искать любые буквы. Даже такие, каких нет в этой надписи. И, набрав как можно больше букв, составить из них первую вредительскую надпись, а из сочетания оставшихся букв догадаться, из каких слов состоит вторая надпись. К ней уже есть эти два лишних «О».  
   Чик продолжал поиски и долгое время ничего не находил. Через некоторое время его внимание привлекла подозрительно приподнятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Ее можно было принять за букву «Г». Правда, перекладина получалась длинней и толще самого столбика, на котором она держалась. Довольно-таки уродливая буква. Эта уродливость буквы раздражала Чика. То ли буква, то ли черт его знает что! Она как бы смеялась над серьезностью самого дела Чика. И он решил не включать ее в собрание букв. Ему даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он ее выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его собираются ковать.  
   Чик приустал от поисков и как-то невольно стал прислушиваться к пыхтению футболистов на улице, к ударам мяча и крикам. Чик решил послушать их немного и узнать, какой счет. Удары мяча сладко отдавались в груди, как удары волн на море. Чик любил море и любил играть в футбол.  
   – Со кифале! Дос со кифале! – то и дело кричал Анести.  
   Во время игры он сильно волновался и иногда переходил на греческий язык. Он все время кричал одно и то же. Просил мяч на голову. Он хорошо играл головой, и поэтому все ему должны были подавать на голову – с аута, со штрафного, с любого места.  
   Он мог шагов десять провести мяч на голове. Отбил головой, принял на голову. В конце концов у него все-таки отнимали мяч. Но один раз в жизни вот так, играя головой, он влетел в ворота противника.  
   Чик с удовольствием прислушивался к сиплому голосу Бочо, хотя тот сейчас играл против его улицы.  
   – Какой счет, пацаны? – крикнул чей-то незнакомый голос.  
   – Семь – восемь, догоняем! – весело кричал Анести. – Оник, не спи! Пасуй! На голову! На голову! Со кифале!  
   И вдруг Чика страшно потянуло туда, на улицу, на футбол. Вот так, бывало, лежишь еще больной, но уже выздоравливаешь, и вдруг голоса играющих на улице ребят. И так потянет к ним, так потянет! Но нельзя – еще больной.  
   Чик вздохнул и стал взглядом рыться в гриве коня. Там было удобно припрятать несколько букв. Чик сильно рассчитывал на гриву, но она совсем не оправдала его надежд. Он не нашел там ни одной буквы, и взгляд его остановился на фигуре самого Олега. Внимание Чика привлек меч. Он мог сойти за букву «Т», если бы над перекладиной не торчал эфес, совершенно ненужный для буквы и для дела Чика.  
   Не зная, куда его деть, Чик погрузился в раздумье. Он стал теребить рукой этот ненужный эфес. Он почувствовал пальцами холод железа. Чик незаметно вытащил меч из ножен и стал им играть. Меч был очень тяжелый, и, может быть, поэтому он неожиданно превратился в шашку, после чего Чик без особых раздумий вскочил на коня, отпихнув слегка обалдевшего Олега, и помчался с чапаевской лавиной на беляков!  
   – Со кифале! – вдруг раздалось под самым окном.  
   Чик вздрогнул и очнулся. Никаких тебе беляков, никакой тебе чапаевской лавины. Он сидит за столом, а на столе все та же тетрадь. А на улице голоса ребят.  
   – Пеналь! Пеналь! Пеналь! – вдруг заорал Оник и побежал, боясь, что эту радостную весть у него отнимут.  
   – Хенц! Хенц! Клянусь мамой, хенц! – в ответ засипел Бочо, явно пытаясь догнать Оника и тем самым всем внушить, что это ошибка.  
   – Пеналь! Пеналь! – убегая, не давался Оник. Он был легконогим.  
   – Хенц! Хенц! – в отчаянии кричал Бочо, отставая. Отстал.  
   И тут все как-то уверились, что был все-таки пенальти.  
   – Считаю одиннадцать шагов!  
   – У тебя шаги нецесные! – Голос бесстрашного карапуза с улицы Бочо.  
   – Пацаны! Он говорит, у меня шаги нечестные!  
   – Нецесные! Нецесные!  
   – А честный фингал не хо?  
   – Попробуй!  
   – Я буду считать!  
   – Нет, я буду считать!  
   – Считаю!  
   – Не дреффь, пацанва! Я любой мяч, как пончик, схаваю!  
   – Я капитан! Я буду бить!  
   – Ты только головой играешь! Головой будешь бить пеналь?!  
   – Я первый закричал пеналь! Я бью!  
   – Ты первый закричал, а я первый заметил!  
   – Ты мазила!  
   – Пусть бьет! Я любой мяч, как пончик, схаваю!  
   – Бью! Тихо! Не люблю, когда под ногу говорят!  
   – Разогнался до центра! Нецесно! Нецесно!  
   – Пусть разогнался! Любой мяч, как пончик, скушаю!  
   – Бью! Тихо! Не мешайте!  
   – Гол! Гол! Восемь – восемь!  
   – Нецесный мяч! Нецесный мяч!  
   «Пацаны там веселятся, – подумал Чик, – а я должен тут искать и искать замаскированные буквы. Но и бросать нечестно… Нельзя быть безвольным, нельзя!» Чик вздохнул и снова склонился над тетрадью.  
   Сейчас Чик вдруг заметил то, чего раньше на этом рисунке не замечал. Конь одного из дружинников, как-то изумленно приподняв голову, смотрит на Олегова коня, словно он слышал гадание кудесника, но никак не может поверить своим ушам. А конь Олега стоял, круто опустив голову, как бы мрачно насупившись. Так наказанные дети, отплакавшись, стоят в углу, упрямо опустив голову, самой своей позой выражая несогласие с наказанием.  
   «Да ты что, с ума сошел! – как бы восклицает конь дружинника. – Я, например, своего хозяина никогда не предам!»  
   «А я что, виноват, что ли? Так положено по гаданию», – насупившись и не подымая головы, отвечает конь Олега.  
   «А ты не соглашайся с гаданием, а ты протестуй!» – советует конь дружинника.  
   «Тут протестуй не протестуй, все равно конец», – отвечает конь Олега.  
   Чик стал читать стихи для того, чтобы присмотреться, не было ли у коня какого-нибудь выхода. А какой может быть выход? Не впускать змею в собственный череп, когда он лежит в поле без всякого присмотра?  
   Чик, конечно, знал эти стихи и раньше, но никакого особого интереса к ним не испытывал. Теперь, читая их и дойдя до гадания кудесника, Чик мельком подумал, что кудесник шпион и нарочно разлучает Олега с любимым конем.  
   Читая стихи, Чик с удивлением чувствовал, что они оживают и оживают. Так, бывало, неохота есть, а начнешь – и неожиданно еда вкуснеет и вкуснеет.  
   И вдруг, когда он дошел до места, где змея, выползшая из черепа коня, обвилась вокруг Олега «и вскрикнул внезапно ужаленный князь», что-то пронзило его с незнакомой силой.  
   Это была поэзия, о существовании которой у Чика были самые смутные представления. В этой строчке замечательно, что не уточняется, отчего вскрикнул князь. Конечно, отчасти он вскрикнул и от боли, но и от страшной догадки: от судьбы никуда не уйдешь.  
   И Чик как бы одновременно с Олегом догадался об этом. И его пронзило. И дальше уже до конца стихотворения хлынул поток чего-то горестного и прекрасного, может быть, постижения непостижимого смысла жизни.  
  
     Ковши круговые, запенясь, шипят  
     На тризне плачевной Олега;  
     Князь Игорь и Ольга на холме сидят;  
     Дружина пирует у брега;  
     Бойцы поминают минувшие дни  
     И битвы, где вместе рубились они.  
  
   Чик чувствует какую-то грустную бессердечность жизни, которая продолжается и после смерти Олега. И в то же время он понимает, что так и должно быть, что даже мертвому Олегу приятней, что там наверху, на земле, озаренной солнышком, жизнь продолжается, река журчит, трава зеленеет.  
   Олег словно видит Игоря и Ольгу на зеленом холме, видит пирующую у брега дружину и с тихой улыбкой говорит:  
   «Конечно, друзья, мне бы еще хотелось посидеть с вами на зеленом холме, попировать с дружиной, поговорить о битвах, где мы вместе рубились, но, видно, не судьба. И все же мне приятно видеть отсюда, что вы кушаете, пьете на зеленом холме. Пируйте, пируйте! Если бы вас не было на земле, если бы вы все умерли, мне было бы здесь совсем тоскливо и одиноко».  
   Обливаясь сладкими слезами и не думая о том, что плакать стыдно, Чик несколько раз прочел это стихотворение, удивляясь, что слова начинают светиться и зеленеть, как трава, на которой сидят Игорь и Ольга.  
  
     Как ныне сбирается вещий Олег  
     Отмстить неразумным хазарам,  
     Их села и нивы за буйный набег  
     Обрек он мечам и пожарам.  
  
   Слова засияли, словно переводные картинки, промытые слезами Чика. В них стал приоткрываться какой-то милый дополнительный смысл. Чик не знал, откуда берется этот дополнительный смысл, но он чувствовал, что этот смысл появился… Неразумным хазарам… Неразумным… Неразумным… Прощающий упрек, даже улыбка прощающего упрека чувствуется в этом слове.  
   В каждой строчке Чик теперь улавливал слова, перекликающиеся и даже улыбающиеся друг другу тайной понимания. Сбирается. Неразумным. Буйным. Обрек.  
   Чик чувствует, что Олег и не хотел бы мстить хазарам, да приходится, и потому он так неохотно сбирается. Он как бы говорит, собираясь в поход:  
   «Ну зачем вы, хазары, такие Неразумные? Если бы вы, как обычно, набежали и ушли, я, может, и не собрался бы в поход. А то ведь устроили Буйный набег… А за это приходится ваши села и нивы Обречь мечам и пожарам».  
   Тут все обречены, и Чик это чувствует. Хазары обречены быть неразумными и потому – устраивать буйные набеги. Олег за это обречен обрекать их мечам и пожарам, хотя сам уже носит в себе свою обреченность погибнуть от любимого коня.  
   Чик затих над столом. Он не понимал, что с ним произошло. Краем сознания он все еще помнил, что искал на рисунке. Нет, он не перестал верить в существование вредителей. Но они куда-то далеко-далеко удвинулись и стали маленькими-маленькими. И даже если они воровато нацарапали на этом рисунке какие-то нехорошие слова и юркнули в какую-то щель, как это все мелко и глупо. Даже искать эти слова мелко и глупо, если в жизни могут происходить такие великие истории, как история Олега и его коня.  
   – Чик, где ты? – донесся до Чика тетушкин голос. – Я же видела, ты прибежал из школы! Обедать, Чик! Горячий украинский борщ, Чик! Мама тебе такой не приготовит, Чик!  
Горячий украинский борщ? Обедать тоже как-то глуповато. Чик прислушался к себе и вдруг с удивлением почувствовал, что мог бы и пообедать. Даже не прочь пообедать. Что делать! Ведь и дружина пировала у брега после всего, что случилось с Олегом. Тетушка, конечно, прекрасно готовит обеды, только зачем она маму приплела? Вот люди!  
   Чик вздохнул, спрятал тетрадь в стол и пошел к тетушке обедать…